

К вопросу о генетически модифицированном живописании

Круглый стол

Сегодня уже всем известно, что молекулярная генетика и родственные ей технологии способны творить чудеса. Биологи научились не только читать информацию, кодирующую развитие организма человека и животных, но и вовсю экспериментируют с вновь открытыми кодами. Первые непосредственные манипуляции в области биотехнологий, несомненно, принадлежат к важнейшим вехам текущей эпохи. Пожалуй, никогда не была так головокружительно высока цена подобных исследований: человек начинает формировать себя и свое окружение, руководствуясь собственными представлениями.

Нам остается только удивляться, какой мощный импульс в направлении биологизации понятия человека дал стремительно развивающийся тренд «наук о жизни». Сегодня биологизировать человека склонны не только те, кто приветствует успехи генетики и связывает с ними оптимистические ожидания, но и те, кто следит за ними с озабоченностью, прибегающий в своих аргументах к грубому материализму: дескать, от работ со стволовыми клетками и генетически модифицированными биологическими объектами до появления Франкенштейна всего один шаг, и скоро наша судьба будет в его руках. Независимо от полюса переживаний и те и другие задаются массой вопросов. Возьмет ли теперь человечество после тысячелетней зависимости от природы свою судьбу в собственные руки? Не окажется ли человеческая жизнь механическим исполнением программы, которая записана в генах? Как вообще мы собираемся обосновывать в будущем наше понятие человека?

«Человек есть то, что задают ему его гены: последовательные соединения аденина, цитозина, тимина и гуанина...» На смену счастью, таланту, личности и уму приходит «генетический шопинг»; а тот старомодный спор между теми, кто в классической просветительской традиции превозносил самоопределение, и теми, кто повсюду усматривал социальный детерминизм, похоже, окончательно исчерпал сам себя.

Даже если поддержанием эмоций на протяжении последних лет руководят некие PR-стратеги, мы не можем отрицать тот факт, что происходящее на наших глазах развитие и есть та самая биотехнологическая революция, предчувствием которой томилось общество конца XX века. Поэтому неудивительно, что в этой области отношений заняли свое место и представители современного искусства. Казалось бы, их интересы должны целиком принадлежать сфере *имажинативной* игры, что всегда собственно и ожидалось от представителей изобразительных искусств. В общем, так дело и обстоит в области кинематографа и мейнстрима от искусства, которые впрямую используют визуальные эффекты новых технологий. Все мы помним бесконечные сериалы «Чужих», «Мух», «Людей X»; в изобразительном искусстве — это творчество братьев Чепменов, Пола Маккарти, Томаса Грюнфельда и т. д.

Однако в последнее время появился и начал стремительную циркуляцию по различным международным форумам современного искусства целый ряд *sci-art* произведений, которые впрямую рефлектируют над *техническими приемами и методами* биотехнологий. Живая ткань в этих произведениях превращается в материал для художника, а живые генноизмененные организмы — в произведение его искусства. И вот мы уже стали свидетелями появления радикально новой волны технобиологических произведений: бактерий с записанными в их геноме стихами и изображениями (Джо Дэвис), бабочек с генетически измененными формами крыльев (Марта ди Минизиш), третьим ухом художника (Стеларк), мигающими и переливающимися всеми цветами радуги головастиками (Дмитрий Булатов), выращенными полуживыми креатурами (группы «SimbioticA» и «Bioteknica») и проч. Модификацию организма, внешнего вида животного или растения, или даже молекулы ДНК, эти авторы рассматривают как «художественное действие», не укладываемое в оценки вроде «полезно/бесполезно», «правильно/неправильно» или «опасно/безопасно». Практически сразу, вслед за появлением первых произведений *science* и *bio-art*'а, последовали и фундаментальные теоретические работы, книги и антологии технобиологического искусства — из Линца и Калининграда, Берлина и Квебека, Нью-Йорка и Скопье, Барселоны и Нанта. Эти исследования каждый раз по-своему представляли спектр критической и теоретической рефлексии по вопросам развития новейших технологий в современном обществе и современном искусстве. Однако в итоге, каждый из этих теоретических трудов неизменно проблематизировал традиционно сложившиеся границы начала и конца человеческого существования, демаркации нормы и патологии, различения своего и чужого, морального и аморального, легального и криминального.

Избавляя терпеливого читателя от субъективных размышлений на эти захватывающие темы и не пытаясь углубиться в философские проблемы, коих здесь достаточно, хочу лишь заметить, что, говоря сегодня о перспективах и опасностях био- и генной инженерии, пожалуй,

разумнее было бы пока воздержаться от категорических суждений и оценить возникающие шансы и риски. Ведь путь от первых экспериментов до широкого применения этих технологических новшеств довольно долгий. У нас достаточно времени, чтобы выработать кодекс по использованию новых возможностей и научиться решать проблемы, вытекающие из трансгенеза, клонинга и вмешательства в эмбриональную сферу. Эти методы еще долго будут сложными и дорогостоящими, однако джина, выпущенного из бутылки, вернуть обратно уже невозможно, и лучшее, что мы можем сделать — это поставить развитие многочисленных направлений технобиологии под неусыпный контроль общественности. И последнее: вряд ли стоит во всем винить художников, — ведь вслед за учеными, разрабатывающими методы и технологический инструментарий, представители современного искусства одними из первых *тестируют радикально Новое*, чтобы открыть обществу его человеческую природу. А по этому поводу еще Френсис Бэкон заметил, что природу человека легче всего обнаружить в новых обстоятельствах, ибо именно здесь покидает его сила привычки.

В конце 2005 года Адам Зарецки (Adam Zaretsky), американский исследователь и автор ряда художественных проектов, реализованных в лаборатории микробиологии Массачусетского технологического института, по заказу редакции канадского журнала *Magazine Electronique du CIAC* организовал виртуальный «круглый стол», посвященный вопросам использования био- и генноинженерных технологий в современном искусстве. Для обсуждения участникам международной сетевой конференции были предложены следующие вопросы: способно ли современное искусство быть неким «амортизатором» в условиях интенсивного влияния новейших технологий; как соединяются научный и художественный способы мышления; может ли современное искусство, и в частности *science art*, дать картину реальности, отличную от научно-рационалистической; кто направляет и контролирует наступление технологий, какова морально-этическая сторона биологических экспериментов в науке и искусстве и т. д. Принять участие в работе этого виртуального «круглого стола» были приглашены: Шэннон Белл (Shannon Bell) — художник, профессор факультета социальных наук Университета Йорка (Канада); Сэм Бовер (Sam Bower) — художник, руководитель виртуального музея искусства окружающей среды greenmuseum.org (США); Дмитрий Булатов — художник, куратор Калининградского филиала Государственного центра современного искусства (Россия); Джордж Гессерт (George Gessert) — художник, редактор отдела искусства и биологии журнала *Leonardo* (США); Кэти Хай (Kathy High) — медиахудожник, профессор и руководитель факультета изобразительных искусств Ренселлеровского олитехнического института (США); Эллиен К. Леви (Ellen K. Levy) — художник, куратор и профессор Бруклинского колледжа (США); Орон Каттс (Oron Catts) и Йонат Цурф (Jonat Zurg) — художники, руководители проекта «Искусство и культура ткани» Лаборатории искусства и науки Школы ана-

томии и биологии Университета Западной Австралии; *Дженнифер Уайллет* (Jennifer Willet) — художник, куратор арт-проекта «Bioteknica» Университета Конкордия (Канада). На английском и французском языках этот материал был опубликован в журнале *Magazine Electronique du CIAC* № 23 / 2005 г. <http://www.ciac.ca/magazine/archives/no_23/en/index.html>

Русскоязычная версия интервью публикуется с любезного разрешения редактора журнала *Magazine Electronique du CIAC* Анны-Мари Босве, а также Адама Зарецки и международного коллектива авторов.

Дмитрий Булатов
Художник, куратор Калининградского филиала ГЦСИ

* * *

Адам Зарецки: Я придерживаюсь мнения, что научные методы представляют собой необычайную либидинальную трофическую охоту. Я сознаю достижения последних ста лет в продлении и улучшении человеческой жизни, но я также считаю, что стремление к познанию «неизведанного» обусловлено желанием властвовать. Разве мы просто скопление приматов, оценивающих и исследующих «каждый потаенный уголок самыми различными способами» для удовлетворения мозговой химии? Если мы способны к альтруизму, мутуализму, гуманизму и /или любви, то как эти харизматические мифы, навязываемые истории управления и контроля, нарушают то, во что мы кажемся постоянно погруженными?

Эллен К. Леви: Я не вижу оснований связывать влечение людей к познанию неизведанного со стремлением к господству, а не любопытством или любовью. Вызываемые допамином реакции (я полагаю, что под «удовлетворением мозговой химии» вы имели в виду именно это), по-видимому, являются частью нашего эмоционального облика. Как я поняла из работы Антонио Дамазियो и Джозефа Леду о нейронауке, наши «инстинктивные чувства» выводятся из соматических реакций, вроде выражений лица, и что наши эмоции всегда должны связываться с контекстом. Ответ Леду на вопрос «есть ли у рыбы чувства?» заключается в том, что человеческое сознание — это результат роста коры головного мозга, которого нет ни у одного другого животного, кроме млекопитающих. Но животные могут быть сознательными в меру способностей своих мозговых структур. Мой собственный опыт взаимодействия и опыт взаимодействия других людей с животными со всей очевидностью показывает, что многие из них обладают теми же эмоциональными чертами, что и мы.

Шэннон Белл: Научные методы — это дискурсивная попытка документирования и осмысления новых форм жизни и смерти; документирование

и открытие часто бывает сложно отделить от власти. Желание ограничить непознанное — это желание, вызванное страхом; самая распространенная реакция на страх — это, как всем давно известно, попытка установить господство.

Альтруизм, мутуализм, гуманизм — это мягкие и склизкие добродетели, которые поддерживают либеральный капитализм. Гуманизм всегда включен в дискурсы эксплуатации: колониализм, империализм, неоимпериализм, демократию и, конечно, американскую демократизацию.

Один из серьезных недостатков трансгуманизма заключается в переносе либерально-гуманных ценностей на биотехнологические улучшения человека. Постгуманизм — это намного более сильная и критическая попытка развития через переход к новому пониманию себя и другого, сущности, сознания, интеллекта, разума, действия, интимности, жизни, воплощения, идентичности и тела.

Кэти Хай: Хотя я согласна с тем, что в научных открытиях присутствует большая доля завоевательной ментальности Дикого Запада, и что система звезд укоренена в политике бизнеса, я также считаю, что в науке многое реактивно и может не подпадать под такие категории. Большое количество исследований является реакцией на болезни, эпидемии и разные напасти. Хотя я все еще считаю, что в этом присутствует определенная героика, часто я встречаю стремление к изучению человека, человеческого и разумного. Эта проблема разрешающей стороны науки... прагматической «исправляющей» стороны. Импульс «мать Тереза творит добро», но с менее искаженными целями. Но это может быть только направлением в медицине и только у определенных врачей. Да, я служила статистическим материалом для врачей, которые хотели использовать мою проблему для *своих* испытаний лекарств. И они не слушали меня, когда я пыталась предложить альтернативные методы лечения, и не желали слышать о других видах лечения...

Но я думаю, что слишком просто отвергать научные методы на таком основании. Многие из того, что мы читаем и знаем об этом, исходит от «звезд». Но за ними стоят команды других исследователей, которые, скорее всего, имеют совершенно иные мотивы. Писать, что все научные методы обусловлены стремлением к получению прибыли, кажется дурной либеральной политикой. Я полагаю, что научные исследования мотивируются множеством различных факторов, которые менялись на протяжении истории и которые будут меняться и дальше: что на самом деле двигало мадам Кюре, Стивеном Хокингом, Крейгом Вентером? Всеми ими двигали совершенно различные мотивы и все они преследовали совершенно различные цели. Вот...

Йонат Цурр и Орон Каттс: Вопрос отражает, скорее, ограниченное бинарное видение мира, а не более сложное, которое предполагает неясный континуум и множество различных оттенков серого: мы не считаем,

что одно (альтруизм, мутуализм и т. д.) исключает другое (контроль, конкуренцию и т. д.). Скорее эти различные способы совладания с окружающей средой в социальной группе взаимосвязаны, и нередко суть намерений и степень осознания их другими членами группы остается неясной. Редукционистское представление об удовлетворении мозговой химии прекрасно сочетается с альтруизмом и мутуализмом (в отношении термина «гуманизм» такой уверенности нет), поскольку существует эволюционная польза в том, чтобы социальные существа поступали подобным образом. Вы, по-видимому, имеете в виду здесь две сильные (но не взаимоисключающие) черты эволюции и человеческой истории — конкуренцию и желание контроля (и в обоих случаях вы утверждаете, что они сексуально обусловлены). И там, и там вы, по-видимому, преуменьшаете значение сотрудничества. Мы утверждаем, что наше стремление манипулировать своим окружением (которое не обязательно имеет сексуальную природу) обладает эволюционным преимуществом перед простой либидинальной трофической охотой. При всем уважении, этот подход, по всей видимости, ведет к закреплению преобладающей капиталистической/конкурентной идеологии.

Сэм Бовер: Любопытство — прекрасная вещь, обладающая доказанными эволюционными преимуществами. Оно может помочь вскипятить нам воду, но также может привести к изменению нашего климата. Всякое стремление к чему-либо может рассматриваться в положительном и отрицательном ключе. Даже стремление к превознесению красоты и искусства может быть разрушительным. В 1890-х годах Юджин Шиффлин решил развести в Соединенных Штатах всех птиц, упоминавшихся в работах Шекспира, включая европейского скворца, который впоследствии размножился от нескольких пар в Нью-Йорке настолько, что стал представлять угрозу местным видам от Аляски до Мексики. Старый спор о том, рождаемся ли мы грешниками или же являемся «благородными дикарями», на самом деле не помогает в работе, которую нам необходимо сделать. С информацией появляется возможность выбора образа действия. Я полагаю, мы можем стремиться быть альтруистичными и сопереживающими и применять научные методы для понимания мира, которые помогают нам жить, не причиняя вреда окружающей среде. Наука долгое время существовала ради науки, и это отвлекло нас от более насущных задач ради достижения краткосрочных целей. Пока мы не поверим, что можно использовать наши способности для создания экологически рациональных отношений с Землей, мы будем обречены барахтаться в бессознательных влечениях, которые в настоящее время господствуют в нашей культуре.

Дмитрий Булатов: Я полагаю, что эти, сами по себе замечательные, человеческие характеристики никогда и не были свойственны человеку. В лучшем случае они могли составить круг достоинств того или иного выдаю-

щегося индивидуума. В отношении же людей как биологического вида альтруизм, мутуализм, гуманизм и т. д. всегда являлись скорее системными требованиями, условиями самосохранения, выдвигаемыми самой природой. Когда человек разумный совершил свое восхождение на вершину трофической пирамиды и превратил окружающую его экосистему в пищевой ресурс — уже тогда он превратился из «хищника дневного» в «хищника абсолютного». Подобный тип «хищника» (например, зоопланктон, стрекозы, археозавры и др.) известен своей способностью «проедать» окружающую его экосистему «насквозь». Позже, когда человек вообще выпал из трофической пирамиды, т. е. перестал быть как охотником, так и пищей, он превратился уже в «хищника тотального». Это значит, что с тех пор и по сей день он использует для своего развития и жизнеобеспечения *всю живую и неживую природу*. И делает это как «хищник тотальный». Поэтому все принципы существования человека, включая его образ мышления и взаимодействие с миром можно охарактеризовать как «хищнические». Я не вижу причин, которые могли бы изменить эту человеческую суть. Однако здесь есть один любопытный момент. «Тотальный хищник», разумеется, необратимо нарушает устойчивость экологической системы, в которой он появляется. Но из этого почему-то делается вывод, что таковой хищник уничтожит всю окружающую экосистему, после чего неизменно умрет от голода. История жизни на Земле подсказывает, что «тотальный хищник», отнюдь не является видом-самоубийцей. В еще меньшей степени он может считаться «разрушителем природной среды обитания». Его эволюционная роль носит совершенно иной характер: «тотальный хищник» есть катализатор биологической эволюции, *едва ли не ее Представление*, в роли участников и зрителей которого нам суждено быть.

Джордж Гессерт: Я не могу говорить за ученых. В искусстве трофическая охота — не самая интересная часть картины, в отличие от либидо. Некоторые виды живых существ восхищают и очаровывают меня, поэтому я с ними работаю. Живое искусство, разрывая с несколькими тысячами традициями, необычайно уместно в наше время. (Я сомневаюсь в том, что оно вскоре изменится.) Помимо исследования генетического искусства, я не знаю, каким образом я, как художник, могу противостоять разрушительным способностям человечества сегодня.

Дженнифер Уайллет: Научное открытие как институционализированные меры контроля:

На прошлой неделе я слушала на радио СВС программу под названием «Идеи». В ней была беседа с историком (имя которого я забыла, так как была занята мытьем посуды). Он пытался объяснить ужас, который вызвала эволюционная модель, когда она была представлена обществу, верившему в божественную природу человека. Насколько противным восприятию человеком самого себя и своего бытия в мире было воображение биологической генеалогии, которая связывала его со всеми видами

на планете — когда все остальные источники (мать, священник, учитель и, возможно, внутренний голос) убеждали его в особом и божественном отличии *homo sapiens* от животных, — копание в собственном дерьме и сексе (это мои слова, а не его). Затем он связал этот «парадигмальный сдвиг» с тем, что мы переживаем сегодня в биологических науках, точнее, отражением современных исследований на представлениях общества о человеческом существовании и его месте в биологическом мире. Он заявил, что с массовым принятием эволюционных моделей человеческая цивилизация (западная цивилизация) приняла модель, в которой человек был вершиной эволюционной цепи. Хотя мы не считаем себя божественными творениями, мы по-прежнему считаем себя вершиной пирамиды. Он сказал, что с нынешними генетическими и биотехнологическими исследованиями эта модель также потерпит крах, и что это будет иметь катастрофические последствия для современного «я».

Иными словами, я считаю науку самоупрочивающейся системой понимания (и контроля через понимание). Но иногда это влечение действует во вред себе, предоставляя данные, которые только подтверждают нашу сравнительную незначительность и нехватку контроля — см. также астрономию.

Адам Зарецки: Вам известно, что я просто одержим перспективами (и опасностями) трансгенного человечества. Мое довольно грязное увлечение этим довольно болезненным процессом ни в коей мере не мешает мне критиковать потенциально возможную пользу и вред молекулярной биологии применительно к геному человека. С четким пониманием того, как наша общая глобальная история евгенической эстетики применялась в прошлом и настоящем... считаете ли вы, что существует некий иной путь к улучшению человека, чем мочеиспускание в генетический бассейн? Существует ли применение концептуально «нового и улучшенного» человека, которое можно признать валидным? Что является «лучшим», когда речь идет о наших техноприспособленных потомках?

Кэти Хай: Я постоянно думаю об этом вопросе. Я со своими аутоиммунными болезнями знаю, что, если ученые выделяют связанные гены, они захотят устранить такие болезни для будущих поколений. Но аутоиммунные болезни — это системные проблемы, и они сложным образом соотносятся с нашим душевным состоянием. Поэтому я подозреваю, что от них невозможно избавиться так, чтобы вместо них не появилось что-то иное. Скорее всего, так будет и со многими другими болезнями. И «излечение» от некоторых в конечном итоге может иметь негативные последствия, так как я на самом деле не верю, что врачи понимают природу многих заболеваний.

Но я также думаю, что многое в нашем развитии связано с изменениями и постоянной адаптацией к изменениям. А поскольку наша окружающая среда необратимо меняется вследствие загрязнения, сокращения

объема воды, быстрого развития культур, распространения генетически модифицированных продуктов питания, трансгенные альтернативы, возможно, позволят справиться с этими изменениями. Возможно, мы сможем жить с меньшим объемом кислорода, поглощать больше питательных веществ из менее питательных продуктов и т. д. И, конечно, что нам останется? Станем ли мы более эффективными производственными машинами, способными обеспечить себе пространство для жизни, устранять все больше побочных продуктов и отходов? Сможем ли мы вывести бактерии для защиты от вредоносных бактерий? Сможем ли мы мутировать с другими мутациями? Сможем ли мы стать тараканами? В конце концов, мне на самом деле очень хочется иметь хвост или крылья...

Дженнифер Уайллет: От общего к частному: общий ответ — нет. Все изменения в человеческом генофонде, на мой взгляд, просто создают иное, а не лучшее или худшее. Томас Линч напоминает нам в своей работе «Предприятие: исследования жизни с точки зрения мрачной профессии» об очень важной статистике. 100 % из нас умрут. Я не могу представить трансгенное изменение, которое может исправить этот фундаментальный изъян (если это вообще изъян). И даже если можно отдалить смерть, это создаст серьезную проблему с перенаселением. Нет. Точно нет.

Частный ответ — да. Каждый день в мире реальные люди — вроде тебя и меня — страдают от страшных болезней и недугов. Статистика для больных и их близких неутешительна, будь они представители высшего класса в Америке, получающие лучшее лечение, которое только может предложить частное страхование, или бедняки в Африке, где нет ни системы здравоохранения, ни элементарной медицинской помощи. Болезней полно, и если есть что-то, позволяющее облегчить боль, избежать инфекций и продлить жизнь, то здесь действует принцип — чем больше, тем лучше.

Шэннон Белл: До тех пор, пока новый человек мыслится в рамках парадигмы капиталистических инноваций, от багажа старого человека не удастся избавиться, и он будет преобладать, хотя, возможно, и в новом виде.

Йонат Цурр и Орон Каттс: Этот крайне антропоцентрический вопрос не имеет отношения к жизни вообще. В великой схеме жизни мы действуем только как ускоренная произвольно мутагенная сила. Несомненно, мы увидим интересные эксперименты с трансгенным человечеством. Это главная область, в которой мы спокойно воспринимаем неравенство в доступе к здравоохранению. Мы надеемся, что это будет одним из тех немногих случаев, когда богатые послужат свиньями-копилками для всех остальных.

Сэм Бовер: Хотя это восхитительная область, заслуживающая изучения, я полагаю, что пока мы не откроем некий ранее существовавший культурно передаваемый ген просвещения, который помогает катализиро-

вать глобальное стремление работать вместе над разрешением насущных проблем, с которыми мы сталкиваемся как вид, трансгенной человечности вряд ли удастся стать чем-то большим, нежели просто геологическим примечанием. Генетические улучшения, скорее, составляют всего лишь небольшую часть общего контекста человеческого существования, обреченного страдать от непредсказуемых побочных эффектов, к тому же ограниченно доступную и, скорее, ограниченно полезную (улучшение усвояемости, сопротивление сибирской язве и т.д.). Если некий улучшенный Homo Sapiens 2.0 появится из генетических усилий, не станет ли он считать обычных людей угрозой? Думаю, у нас есть более важные вещи, чем пустяковые манипуляции с генофондом или привнесение евгенических страхов и хаоса в и без того непростую ситуацию. Я сомневаюсь, что мы сможем помешать людям преследовать свои амбиции и удовлетворять свое любопытство или алчность, когда у них есть такая возможность. Возможно, когда нефть закончится, и Землю захлестнут болезни, горстки сверхлюдей найдут способ процветать и воссоздавать ландшафты. Тогда, когда у них будет больше власти, у нас появится шанс.

Эллен К. Леви: Повторю еще раз комментарий Дэниела Кевлеса по поводу генетики: «чтобы спроектировать ангела, необходимо знать требования небес». Это по-прежнему верно.

Дмитрий Булатов: Я вообще не понимаю, почему, когда мы говорим об «улучшении» (био) инструментальных характеристик, мы все время связываем это с улучшением Природы человека. По меньшей мере, есть резон говорить об улучшении функциональных свойств «протезирования», о совершенствовании технической стороны механизмов, о придании, в конце концов, этим механизмам метаболических свойств. Но почему, каким образом новая версия внутреннего «биопротеза» может привести к внутреннему совершенствованию человека? Очевидно, что в риторике сторонников техноэволюции происходит подмена понятий: придавая пластичность биологическим свойствам тела человека разумного, мы никоим образом не улучшаем его внутреннюю Природу. Мало того, сегодня речь идет вовсе не об «улучшении» человеческой природы, а о сопротивлении его инстинктам к технобиологическому саморазрушению. Ибо «искусственное» — всегда зависимо, а без свободного волеизъявления не может быть внутреннего совершенствования.

Джордж Гессерт: На мой взгляд, манипуляции с эмбрионами для искоренения наследственных болезней вроде диабета весьма желательны. Конечно, сразу возникают вопросы. Как насчет генов, которые могут вызывать болезни, но иногда приносят пользу, вроде гена серповидного эритроцита? Как насчет биполярного синдрома? Где лежит грань? Но решающее значение имеет возможность облегчения огромных физических страданий — у нас нет моральных оснований отказывать в помощи.

Ли Сильвер может быть прав, утверждая, что медицинские вмешательства создадут возможность для непатологических вмешательств. Когда речь идет о таких вещах, как рост, вес, цвет глаз, интеллект и музыкальные способности, он рекомендует подход *laisse faire*, который означает, что в обозримом будущем богачи и их отпрыски получат непропорциональные возможности для эмбрионального вмешательства с целью получения социально желаемых черт. Но социальный успех не синонимичен биологическому, так что долгосрочные преимущества таких вещей, как художественная одаренность, достигнутая в результате геномной инженерии, куда более неоднозначны, чем может показаться на первый взгляд.

Я благодарен тем, кто работали и работают в науке и промышленности над развитием разумных правил. Сами по себе правила — это только сдерживающее напоминание, потому что всякий раз, когда речь идет о деньгах, лисы пытаются забраться в курятник. В долгосрочной перспективе разнообразие может быть лучшим решением. Чем острее конкуренция биотехнологических интересов и целей, тем лучше для нас. Нам необходимы биотехнологии с внутренними сдержками и противовесами, социальная, политическая и экономическая экология, выходящая далеко за рамки промышленности и науки и проникающая в каждый уголок общества и мира. Между тем нам необходимо компетентное и устойчивое обсуждение. Обсуждение должно дойти до каждого, потому что биотехнология, скорее всего, коснется всех. Искусство может сыграть важную роль в этом.

Адам Зарецки: Не является ли Сеть более мощной мутагенной силой, чем генетически модифицированные объекты? Не оказывают ли языковые тропы и мимикрия мемов более сильного влияния на будущую жизнь (даже унаследованные черты), чем любое «заказное» применение манипуляций с эволюционным развитием? На этом следует остановиться подробнее. Все мы выступаем и пишем и в том или ином смысле причастны к биотехнологической практике живого искусства. Несмотря на все возможные сходства, я выступаю за сравнение этих двух процессов с точки зрения влияния на эволюцию: эмбриональной инженерии форм жизни и межличностной коммуникации. Меня интересует вопрос о значении для эволюции, и у меня нет определенной позиции по этому пункту. Это довольно важно, потому что технология и словесное выражение играют свою роль в процессе решения, подчас определяющую: какие организмы будут жить, а какие умрут? Кто, как и для кого выбирает самку? Кто решает санкционировать воспроизводство или нет и почему? Кому «помогает» новая мутагенная репродуктивная технология, и чем она является для него? Какие различия считаются действительно ценными и какие передаются как болезнь? Хотя я испытываю сильные сомнения насчет способности *Homo Sapiens* полностью понять течение жизни и направить его в нужное русло, я действительно верю, что геномная инженерия и выраженная идеация являются процессами, которые оказывают решающее влияние на то, какие земные организмы выживут в будущем, какие фор-

мы они могут принять (анатомически и как живые существа) и как глупая жизнь на Земле может сохраняться в таких жестких условиях. Когда речь идет о будущей жизни, правда ли, что ручка сильнее мутагенеза или наоборот и почему?

Дмитрий Булатов: Ваше сравнение эмбриональной инженерии и межличностной коммуникации неслучайно и неудивительно, так как и то и другое *в своем основании имеет язык* (или код — если угодно). Функционирование и развитие языка, преломляясь через наше сознание, делает осуществимым наши технологии, или, по меньшей мере, формирует оптику их восприятия. Если технология и информация [от лат. — созидание] увеличивает эффективность физического принуждения, то это, в первую очередь, свидетельствует о репрессивных, фашизоидных функциях самого языка. Язык — настоящий фашист, ибо суть фашизма не в том, чтобы запрещать, а в том, чтобы понуждать говорить нечто. Именно поэтому мутагенез, процесс письма и развитие технологий — это явления одного порядка, порожденные предписывающей, директивной природой языка. И именно поэтому в них всегда сквозит тень несвободы и принуждения. Меня более занимают эти свойства, а не сравнения силы.

Дженнифер Уайллет: И то и другое. Вообще я считаю, что североамериканское общество смотрит слишком много сериалов, вроде *CSI: Место преступления*. Так или иначе, отталкиваясь от этих воображаемых представлений о системе обеспечения правопорядка — среди многих других огромных медиаискажений биологических и компьютерных наук, — мы совершенно неверно истолковали черты и качества обеих технологий и природу пересечений и отношений между ними. Программирование вебсайта и распыскивание ДНК на чашку перттри — это два совершенно разных действия. И то и другое имеет большое значение для достижения результатов на совершенно различных уровнях. Правильный ответ на вопрос «Хаксли или Оруэлл?»: и тот и другой.

Йонат Цурр и Орон Каттс: Как вы уже заметили и показали с таким красноречием, действует и то и другое... Но нельзя сопротивляться соблазну представить вещи в виде бинарной оппозиции, придавая им сравнительную ценность (почему столь популярна в США такая риторика?). На протяжении всей человеческой истории мы видим постепенное сближение биологической и культурной/технологической эволюций. Пользуясь терминологией Доукинса, мемы и гены соединились. Бессмысленно пытаться определить, что из них важнее. Очевидный пример, если огромный астероид столкнется с Землей через 120 лет, велика вероятность того, что мы вернемся к чисто биологической эволюции. Но если технология (развитая посредством того, что можно назвать продуктом меметической эволюции) найдет способ отклонить его, можно будет сказать, что перо оказалось сильнее биологического мутагенеза. Не так ли?

Сэм Бовер: Мы и раньше сталкивались с культурным вымиранием, причем значительным. Австралопитеки и близкие к ним приматы в свое время создали генетические идеи для всех нас, которые мы тщательно проверяли и улучшали на протяжении миллионов лет. Учитывая наше нынешнее понимание устойчивых культур (наши предки из плейстоцена одержали верх) мы находимся в лучшем положении для более широкого применения некоторых из этих идей в том темпе, который нам доступен. Беспрецедентная доступность информации, качественных идей и мгновенной глобальной коммуникации вполне способно помочь современным людям преодолеть нынешний недостаток планирования, который угрожает планете. Генетически модифицированные объекты, во многом схожие с вышеупомянутым европейским скворцом, способны выйти из-под контроля совершенно непредсказуемым образом. Я полагаю, что мы лучше способны направлять распространение полезных идей по всем миру, чем беспрецедентные комбинации ДНК. И то и другое может иметь разрушительные последствия в случае неэтичного применения, но мы имеем больший опыт в управлении людьми и идеями, чем в манипулировании генными соединениями.

Кэти Хай: А как насчет включения межвидовой коммуникации? Не следует забывать о ней, так как, на мой взгляд, она имеет решающее значение для этого диалога. Поскольку мы влияем на мутацию других видов, а не просто на свой собственный, и на последующие поколения посредством избирательного разведения, прививания и перекрестного опыления, наша способность общаться с этими видами оказывается жизненно важной.

Ваш вопрос на самом деле касается следующего: могут ли слова влиять на изменения? Можем ли мы влиять и вмешиваться в научный процесс своими вопросами и заинтересованностью? Можем ли мы участвовать в формировании решений там, где инструменты науки могут быть применены в следующий раз? Думаю, именно поэтому мы занимаемся тем искусством, которым занимаемся. Что касается меня, то я хочу работать, внося свежий взгляд, иную перспективу и задавая вопросы, которые, возможно, еще никто не задавал. Разве многие научные практики в каком-то смысле не сомнительны? Кто задает вопросы, и кто прислушивается к ним? Могут ли художники и их работы открыть более публичный диалог о науке? Можем ли мы способствовать его началу?

Эллен К. Леви: Многие ученые (безусловно, Гулд и Доукинс особенно заметны в этом отношении) отмечали, что культура является ламарковской по своей природе, и, конечно, она намного быстрее эволюции.

Мне кажется необычайно интересным, что нынешние исследования «направленного мутагенеза» (оксюморон?) у бактерий поднимают вопрос о возможности ламарковского подхода в противопоставление дарвиновскому подходу к эволюции. Этот подход может показаться

серьезным вызовом стандартной эволюционной теории, которая придает особое значение естественному отбору и случайным изменениям, вместо этого говоря об обусловленности изменений (в бактериях) окружающей средой. Мое (весьма ограниченное) понимание: перепрограммирование молекулы ДНК, которое, в свою очередь, направляет синтез белка с заменяемой аминокислотой с целью создания энзимов с новыми свойствами. Поэтому этот подход полезен для изучения экспрессии генов и отношений между структурой и функцией белка. И я сохраняю надежду на возможность достижения некоего фундаментального понимания биологии, которое сможет ответить на вопрос о направлении эволюции.

Джордж Гессерт: По большому счету — кто знает? Но для меня лично перо и кисть — основные инструменты жизни и открытия. Политическое измерение открытия в искусстве, открытия того, что в буквальном смысле стоит прямо перед глазами, заключается в том, что, определяя опыт для себя самих, мы сталкиваемся с образами и силами — не просто биотехнологическими, — которые будут определять наш опыт и направлять наши жизни. Искусство может оказывать значительное или не слишком значительное влияние на мир, но оно не отличается от большинства других человеческих действий. Я занимался садоводством, преподаванием, полиграфией, местной политикой и лесоустройством, но искусство подходит мне лучше всего.

Адам Зарецки: Мы можем немного поговорить о мутафобии? Мутации — это естественный процесс. Все мы — мутанты. У всех нас есть отклонения. Хромосомы тасуются, вирусы распространяются, среды меняются, транскрипты неточно расшифровываются, родители выбирают друг друга по невыясненным причинам... так чего же мы боимся? Мы, люди, весьма преуспели в изложении ксенофобии, жадности и классовой войны при помощи благожелательной риторики. Можно ли считать проект ускорения различий аморальным? Разве монстр нам не ровня? Как бы то ни было, невозможно обойтись без критики геноцентричных идеологий в эти идеологические времена. Но что, если здоровье, знание, конкуренция, выгода, творчество и даже карнавальность — это просто оправдания применения инженерии к живому, радикальному различию? Не боимся ли мы самой возможности? Не хотим ли мы сохранить «идеальную природу», чтобы затем обвинить ее в патологическом вымирании? Как связано влечение к удовольствию от вины со страхом утраты? Не является ли страх перед мутантом страхом вины? Не следует ли нам ощущать вину прежде всего за мутафобию? Наконец, после своеобразного каблистического перестановочного исчерпания, не боимся ли мы столкнуться со всем возможным? Не является ли это страхом смертности? Банальности? Сложности? Анархии? Геномной демократии? Или это что-то еще, вызывающее у нас беспокойство?

Джордж Гессерт: Люди с серьезными отклонениями — это такие же люди, как и все остальные, и иногда они обладают необычайно ценными чертами характера именно из-за своей ненормальности. Но в вопросе смешения различий между мутацией, рекомбинацией и переносом генов сочетание всего этого с окружающей средой создает отклонения.

Мы вправе бояться биологической мутации (сознательно вызванной или нет), потому что около 90 % мутаций ведет к смертельному исходу, 5 % к нему не ведут, но причиняют серьезный вред, 4 % остаются нейтральными и 1 % приносит пользу. Подавляющее большинство мутаций нежелательно, если не принимать во внимание научную фантастику и желание смерти. Что касается незначительного процента счастливых мутантов: когда речь идет о людях, это всегда хорошо.

Область, в которой мы не можем оценить полезность мутации, — это область нечеловеческого. Вопрос об оценке достоинств по-настоящему нового растения или животного всегда представлял проблему для селекционеров. Как правило, селекционеры ищут небольшие различия в том, что они уже знают. Вопрос о том, что «выше», возникает только тогда, когда в дело включается сознание. Именно поэтому история селекции растений и животных так важна сегодня: они показывают, что происходит, когда в дело вмешивается сознание. Она может служить серьезным предостережением.

Рекомбинация генов заметно отличается от мутации и обычно не создает серьезных проблем. Поэтому мы не слишком боимся рекомбинации генов, по крайней мере для своего вида. Перенос генов при помощи биотехнологии вызывает существенные изменения, например, синие розы или яркие растения табака. Эти изменения пленяют воображение общества и вызывают множество надежд и страхов. Многие художники интересуются переносом генов. И я не исключение, но я бы не сделал этого с человеком. Когда мы открываем эту дверь, мы открываем дверь человеческому видообразованию.

Йонат Цурр и Орон Каттс: Рассмотрим основную посылку вашего вопроса — мы боимся только определенных типов мутантов и монстров, отзываясь с одобрением о других. Человеческая культура обычно восхищается необычными людьми; наша культура прославляет спортсменов и моделей, которые очень сильно отличаются от остальных. Так в чем проблема?

Шэннон Белл: Монстры равны нам. Социально созданная граница между красотой и уродством постоянно перемещается. Мы боимся случая и фетишизируем его. Пара бессмертия и банальности. Нас беспокоит как раз игра между случаем и контролем.

Кэти Хай: Этимология мутанта и мутации: забавно, что «мутация» означает просто изменение — объективное и нейтральное. Но «мутант» означа-

ет дальнейшее — скорее, негативное — суждение об объекте, становящемся странным и необычным. Когда изменение стало считаться странным? С процессом все в порядке, но результат представляет угрозу?

Для меня проблемой в одобрении мутации является сегодняшнее доминирование корпораций в науке. Тот факт, что генетически модифицированные объекты можно найти в Китае, в различных частях Мексики, то есть не там, где они были выведены, представляет собой своеобразную мутацию, когда коммерция устанавливает свое господство от имени науки. Поэтому у меня вызывает сомнения то, *кто* будет осуществлять мутации *чего* и *с какими целями*?

Сэм Бовер: С духовной точки зрения, можно сомневаться в идее наличия бессмертной души, воплощающейся в различных формах, так что мы можем помочь нашим душам развить более глубокое понимание контекста. Поэтому мы фиксируемся на форме и привязываемся к нашим нынешним идентичностям. Нас беспокоит смертельная боль и смешение вещей, а наша амнезия делает сострадание трудным, так как ставки кажутся слишком высокими.

Дмитрий Булатов: Мутафобия является только одним из элементов дискуссии, широко разворачивающейся в общественном сознании. Сегодня все занято исследованием Другого (Чужого, Мутанта и т. д.) Необузданные спекуляции на различиях особенно ярко проявляются в СМИ и поп-культуре, где ключевая проблема всегда состоит в том, *каков Другой* и *где* этот Другой. Выясняется, что весь механизм либеральных ценностей современного общества идеально настроен на освобождение, понимание и признание различий. С помощью иллюзий обмена и контакта оно нацелено на то, чтобы, преодолев отчужденность различий, разрушить само понятие Другого. Однако это не улучшает ситуацию, — напротив, за последнее время мы стали свидетелями целой серии катастроф, являющихся логическим следствием подобной стратегии. Для меня, выросшего в условиях тоталитарного строя в СССР, совершенно очевидно, что корень проблем необходимо искать не в феномене Другого, а в причинах появления *Того же самого*. Вместо излюбленных тем поп-искусства и поп-культуры, в которых главенствующим является различие между человеком и машиной, человеком и мутантом, нам необходимо обратить внимание на трагедию похоти, типичности и программируемости. Современная био- и генная инженерия очень четко проблематизирует именно эту тему. Стремительное развитие репродуктивных технологий указывает на избыток и перепроизводство Того же самого, безудержное размножение типического и одинакового. А ведь один из законов природы мог бы звучать следующим образом: «Тот, кто не замышляет различий, непременно будет уничтожен». Опасаться нужно не отличий Другого (отличия позволяют нам определять себя в качестве индивидуумов), а опасной близости своих собственных копий (где неразличимость становится реальностью).

Дженнифер Уайллет: Я расскажу небольшую историю. Несколько лет в режиме неполного рабочего дня я работала в магазине, продававшем свадебные платья, многоярусные торты и разные свадебные принадлежности ручной работы. Это позволяло платить за обучение и служило интересной точкой встречи с внешним миром. В один особенно вялый день в магазин пришла хозяйка со своей дочерью, обе истовые христианки. Мы смеялись над пальцами на моих ногах. Это был жаркий день, и я надела сандалии, что я делала нечасто, потому что у меня самые короткие пальцы на ногах, которые я когда-либо видела. (Моя тетя обычно говорит, что они выглядят так, словно кто-то обрубил их топором). В ответ на их подшучивание я сказала, что я читала где-то, что, с точки зрения биологии, нам вообще не нужны пальцы на ногах и что ученые полагают, что мы эволюционируем к человечеству со ступнями без пальцев. Так что, возможно, мои маленькие пальцы свидетельствуют о моем эволюционном месте в жизни, более близком к идеалу, чем у остальных. Воцарилось молчание. Его нарушила моя хозяйка, которая сказала буквально следующее: «Мы не верим в эволюцию — мы верим в Творение».

Адам Зарецки: Последний вопрос касается дела Стива Куртца¹. Стив Куртц не может ответить на этот вопрос из-за судебного процесса, отнимающего все силы, но я постараюсь сформулировать его так, чтобы на него могли попытаться ответить другие. С биотехническим процессом связаны самые разные проявления нападков на произведения искусства. Одни говорят, что биология как процесс искусства — это просто рекламный инструмент для «большой науки». Но при всей наивности или мегаломании художника общий результат любого биологического произведения искусства означает подготовку социального к более легко-

¹ Critical Art Ensemble (Ансамбль критического искусства, <http://www.critical-art.net>) — коллектив, который в 2004 году получил широкую известность в связи с расследованием по делу одного из его участников, художника и профессора факультета искусств Университета Нью-Йорка в Баффало Стива Куртца (Steve Kurtz). В своих выставках и публикациях группа CAE использовала информацию неофициальных расследований по деятельности как государственных, так и неправительственных групп, так или иначе связанных с исследованиями и разработками в области геномной инженерии. За хранение в квартире стандартного биотехнологического оборудования (неоднократно демонстрировавшегося на выставках в США и за рубежом), Стиву Куртцу было предъявлено обвинение в подготовке биотеррористических актов, влекущее максимальное наказание в размере 20 лет лишения свободы. Все действия ФБР, от поспешного ареста до предъявления обвинения, были выполнены и оказались возможны лишь благодаря широко раскрытой в США антитеррористической истерии. С момента ареста художника, ученые и деятели культуры всего мира провели десятки акций в защиту Critical Art Ensemble. Статью Стива Куртца о деятельности CAE см. в антологии «BioMediale. Современное общество и геномная культура» (под ред. Дмитрия Булатова, Калининград: КФ ГЦСИ, Янтарный Сказ, 2004). Дополнительная информация по адресу: <<http://ncca-kaliningrad.ru/biomediale>>. (Примечание Д. Булатова).

му принятию всевозможных биотехнических инновационных/инвазивных изменений. Другие связывают с художниками, экспериментирующими с технокультурой биологии, разрушение. ФБР видит в деле Стива Куртца следующее: «художники и другие непрофессионалы – не-ученые – не должны заниматься вещами, в которых они ничего не смыслят». Это угрожает культуре любителей и ведет к закреплению искаженного представления о том, что размышлять может только подготовленное сознание. Это также означает, что в жизненном мире должно быть больше командования и контроля: «спички детям не игрушка!» Это нелепое представление. Ваша аура художника – это аура нелепого шута от искусства, который показывает публике, насколько сложна наука для простого человека, или вы – оппортунистический индустриальный пиарщик, стремящийся подзаработать? Что можно сказать о социальной роли для технически образованных биохудожников, которая не ассоциировалась бы автоматически с индустрией или некомпетентностью? Как вы преодолеваете эту пропасть в своем художественном процессе/практике?

Йонат Цурр и Орон Каттс: Мы полагаем, что биохудожнику можно, но сложно поддерживать удовлетворительный уровень автономии, сознавая при этом риск доместикации этих технологий (или превращения в вольных или невольных агентов продвижения и нормализации биотехнологий). Постоянно пересматривая наши собственные практики и стратегии обращения с вопросами частичной жизни, наша работа над проектом «Искусство и культура ткани» представляет собой попытку активного картографирования этой новой области в надежде определить имеющиеся здесь ловушки. Автономное искусство, согласно Кокельхорену, может быть только «формой искусства, которая помещает проходимую платформу над нашей конститутивной нехваткой основания. Это можно сделать, проверив необходимые нам для этого промежуточные инстанции. В этом смысле искусство принимает участие в распространении ковенциональных форм дисциплины, но в то же самое время содержит критический потенциал для сопротивления им».

Ирония – это еще один важный инструмент, который позволяет художнику постоянно пересматривать свое положение, не впадая в прославление своей добродетельности или в полный цинизм.

Орон Каттс: Работая в *SymbioticA*, я всегда пытался демократизировать «тайное» знание наук о жизни, позволяющее людям участвовать в манипулировании живыми системами с феноменологической, внутренней и осведомленной позиции.

Кэти Хай: Мне всегда нравились конструкторы и подход «сделай сам». Я не эксперт. Но, с точки зрения любителя, я исследую и задаю вопросы. Я хочу, чтобы все, кто не являются учеными, занимались тем же самым. Мне хочется, чтобы было больше публичных произведений био-

искусства, которые вызывали бы вопросы, споры и обсуждение. Я знаю, что «Ансамбль критического искусства» и Стив Куртц и другие долгое время занимались именно этим — процессами демистификации. Я же работаю с животными. Я хочу, чтобы люди подумали о том, что это значит — работать с животными, не отвергая все научные практики, связанные с животными, а устанавливая сотрудничество между теми, кто проводит опыты, и тем, на ком опыты проводят. Я хочу предоставить автономия субъектам и сделать так, чтобы они ставили вопросы, которые также необходимо ставить.

Эллен К. Леви: Меня поражает, что многие люди, в том числе и Юджин Такер, открыто говорят об определенном конфликте между нуждами здравоохранения и рыночными интересами биотехнологии. Такие конфликты подпитывают определенный художественный активизм, например у Стива, и политический активизм у других (например, у *Action Aid*, Ньюмена и Рифкина).

Вспомним, что научные войны были вызваны сопротивлением отдельных ученых вторжению широкой публики на их территорию. Вспомним мистификацию Сокала, когда сознательно сфальсифицированный «научный» текст был опубликован в ведущем научном журнале, чтобы посрамить постмодернистских редакторов и читателей. Некоторые видят в этой мистификации стремление части ученых поставить под сомнение способность публики обсуждать науку. Очевидно, что публика должна прийти к пониманию биотехнологической науки и пониманию ее отношений с экономикой и не только. Генетические «домашние котятка», вроде тех, которыми занимается Наталья Еремеевко, на самом деле подрыывают такие представления.

Отметьте, что я согласна со многими другими, что мы не обязательно должны выпускать генетически измененные организмы в окружающую среду, так как это не противоречит нашему пониманию методов биотехнологии. Я также считаю, что правильно было бы посмотреть, кто лучше всего использует ограниченные ресурсы для научного исследования. Мне интересно, каким образом художники могут вносить значительный вклад, скажем, в исследования «направленного мутагенеза», поскольку здесь нельзя обойтись без строгих научных знаний и создания подходящих условий для проведения экспериментов и верной интерпретации результатов. Мне кажется, что искусство — это процесс адаптации к быстрым изменениям окружающей среды и инновациям (например, тем, которые создаются биотехнологией), но это не значит, что позиции биохудожников поляризуются так, как утверждаете вы (то есть либо индустрия, либо некомпетентность). Согласитесь, что на самом деле некоторые художники выполняют задачи научной критики и делают зримыми неявные послышки.

Всегда трудно двигаться вперед при наличии ограниченного объема моделей для биоискусства. Но имеются важные исторические примеры

взаимодействия науки и искусства, которые полезно рассмотреть. Вспомним дискуссии между Галилео и Чиголи или между Элом Копли и Веддингтоном. Я также полагаю, что следует взглянуть и на другую сторону монеты (биоискусства). Если лабораторные животные теперь доступны для отдельных художников, возможно, нам следует создать студии, доступные для ученых, которые хотят выразить свои собственные творческие способности при помощи иных средств.

Джордж Гессерт: Политики всегда использовали и будут использовать искусство и науку с целью увеличения своей власти. В той степени, в какой генетическое искусство привлекает внимание общества, можно ожидать, что наши работы будут использоваться с целями, которые противоположны нашим. В этом нет ничего нового, но нам не следует отказываться от своей работы. Я, как художник, верю, что, владея языками искусства и стремясь донести до других все, что мы можем до них донести, мы можем общаться, несмотря на усилия тех, кто пытается использовать нас с узкими целями. Всегда существовали люди, внимательно следившие за работами или результатами работы и получавшими от этого выгоду. Мы действуем в культурных контекстах, которые мы не в состоянии или почти не в состоянии контролировать.

Искусство — это водоворот, существующий тысячелетиями, в котором эстетика всегда была важнее политики или науки. Иногда я (вместе со своей семьей) выступал в роли политического активиста, но основной акцент в своем искусстве я делал на эстетических соображениях. Эстетизм ведет к разложению, но он также может быть областью необычайного, свободы и связи с нашими человеческими и нечеловеческими предками. Он может дать проблеск целостности. Я пытаюсь вспомнить изначальные причины притягательности искусства и плясать от этого.

Дмитрий Булатов: Я уже давно заметил, что система, борющаяся с терроризмом с течением времени сама по себе все более напоминает террористическую. Так уже давно произошло с Россией и США, Великобританией, Израилем и многими другими странами. Террор, в первую очередь, ведь не столько ужас насилия, сколько — *ужас утраченного*. Вот любопытный пример из истории дореволюционной России: различные террористические группы, которые *инсценировали* покушения на царя, навлекали на себя более суровое наказание, чем то, которое полагалось за *реальное* покушение. Из этого можно сделать вывод, что *покушение на сам принцип реальности представляет собой более серьезное нарушение, чем реальная агрессия*. Это высказывание касается не только Стива Куртца и «Ансамбля критического искусства», но и, в общем говоря, всех современных художников, у кого есть сомнения в установленном порядке реальности.

Теперь — что касается методов и стратегий биотехнохудожников. На мой взгляд, рассматривать искусство в качестве promotional tool для науки, политики или каких-то других областей — непροстителная глуп-

пость. Это является всем чем угодно (PR, социологией, политикой), но не искусством. Искусство, как любая саморазвивающаяся система, всегда озабочено только условиями и возможностями своего существования. А развиваться оно может через попытки *не столько подтверждения версий современности, сколько оговаривания, очерчивания ее – современности – границ*. В искусстве это достигается за счет инсценирования системных запретов, представления фрустраций и невозможностей, проще говоря – представления ситуаций клинической смерти искусства. Это не касается, скажем, зрителя или художника: «системные запреты» по определению не касаются человека. Здесь в первую очередь я имею в виду представление «системных» невозможностей функционирования искусства самого по себе. Именно таким образом, за счет кратковременных фазовых переходов, искусство движется от одного запрета к другому, от одного «обморока» к другому и от одной невозможности к другой, причем все эти невозможности, фрустрации и запреты порой не имеют никакого основания в жизни. Они имеют основание только в искусстве. Последнее время мы неоднократно становились свидетелями подобных системных катастроф в истории новейшего искусства, достаточно вспомнить такие средовые художественные явления, как фотография, видео, компьютеринг, Net-системы. Однажды произведя революцию на уровне медиаобразности, они сами стали неотъемлемой частью мейнстрима, без которой нынешнее состояние современного искусства уже непредставимо. Сегодня мы имеем чрезвычайно редкую для истории искусства возможность в очередной раз взглянуть, теперь уже через призму био- и генных технологий, на собственный образ современного искусства, т. е. на его сиятельный труп.

Что касается моей собственной тактики в искусстве, то она основывается на фиксации именно этих новых запретов и невозможностей. По сути, моя работа сводится к обнаружению предпосылок возникновения новой художественной среды, созданию ее онтологии и описанию средовой этики и эстетики. Проще говоря, речь идет о *конструировании* нового медийного явления, то есть предполагается, что появляется новая художественная реальность со своим аверсом системной пользы и реверсом системных проблем. Тестирование этих аверсов и реверсов *в отношении художественной системы* (не человека, не общества, но художественной системы!), работа по смещению акцентов – и есть стратегическая задача современного художника.

Сэм Бовер: Я руковожу сетевым музеем (www.greenmuseum.org), и моя история совместного и индивидуального художественного творчества связана не столько с технофетишизмом передовой науки, сколько возможностью использования моих способностей и эстетики в мире. С точки зрения длительного воздействия, искусство, которое сознательно обсуждает серьезные проблемы, исходит из того, что, применяя полученные знания, люди меняют свое поведение в мире. Можно достичь

больших результатов, когда идеи завоевывают популярность, но, если этого не происходит, существует риск превращения в большой дискурсивный мыльный пузырь человечности, который почти не оставит физических следов, если не считать мусора. Произведения искусства, предназначенные главным образом не для людей (искусство, которое контролирует эрозию, создает среду обитания и т. д.), могут перестать работать как физическое вмешательство или как культурный мем и в буквальном смысле исчезнуть в ландшафте, пребывая в изоляции, как дерево в лесу, где никто не видит, как оно растет. Если они не станут частью более широкой человеческой истории, их послание и более широкое влияние как полезной идеи, которая может пропагандироваться, останется не услышанным или ограниченным. Вызов создания искусства, которое создает различие, особенно важен для баланса между удовлетворением более широких культурных потребностей нашего общества и метачеловеческой заботы о нашей планете. Если мы обращаемся с нашими произведениями не только к одной аудитории, возможно, нам удастся лучше справиться с опасностью кооптирования или непонимания какой-то одной группой. Я часто спрашиваю себя, какие произведения искусства понравились бы деревьям. Чем шире наша эстетическая сеть и чем больше она поддерживает ценности, в которые мы верим, тем труднее какой-то одной группе осуществлять контроль и тем большее воздействие мы, скорее всего, окажем.

Шэннон Белл: Художники, художественные произведения и художественное пространство могут служить источниками и местами знания и критики.